

ГЕНЕРАЛ В ОТСТАВКЕ

РАССКАЗ

Он запер на ключ дверь и придвинул к окну кресло. Вокруг уличного фонаря, как бабочки, роились снежинки. Белела земля, постройки, деревья, только море было черным, и над ним курился легкий туман.

В кабинете было темно и тихо. Молчал селектор. Перед Федором Ивановичем на подоконнике стоял стакан с давно остывшим чаем. Когда его начинал душить кашель, он торопливо делал несколько маленьких глотков и снова сидел неподвижно, откинувшись на спинку глубокого кресла.

Прежде Путивцев и часа не мог прожить без людей, без телефонных разговоров, без обычной рабочей сутолоки. Сейчас он был рад тишине и никого не хотел видеть, кроме Стронга. Со Стронгом его связывала давняя дружба. Когда ему бывало трудно, он всегда шел к Стронгу или тот приходил к нему. Но Стронг далеко, в Индии. Изредка он присылал оттуда мелко исписанные открытки, писал, что котлы на теплоэлектростанции

установили и ток скоро пойдет в джунгли, что врачи ошиблись и в тропиках он чувствует себя хорошо.

«В Индии сейчас цветут магнолии, а у нас зима. Если бы я тогда поехал в Индию, ничего бы этого не случилось». Путивцев с болью вспомнил, как сегодня утром, когда он шел по заводу, кто-то в спину ему сказал вполголоса: «Генерал в отставке...»

Все уже знали, что главный инженер уходит на пенсию. Путивцев шел, с трудом переставляя измученные ревматизмом ноги. Легкие фетровые валенки казались ему пудовыми. Скрипел под ногами еще не подчеркнутый копатью снег, и в этом скрипе, и в ослепительной белизне ранней зимы было что-то от молодости, от далеких ушедших лет, — и от воспоминаний нестерпимо защемило сердце.

...Зима в тот год тоже была ранней. В хатах уже топили соломой. Легкий сизоватый дымок стлался над поймой, поросшей хрупким перестоявшим камышом. К горьковатому

запаху дыма примешивался запах свежего хлеба и пирогов — местные богатеи справляли пьяные свадьбы с тройками, с ряжеными, заливчатыми гармошками, а бедняки с первыми заморозками собирались в город на заработки.

По рассыпчатому снегу к вечеру добрался до города и Путивцев. На месте нынешнего завода на берегу стояло тогда три железных коробки-цеха, прокопченных до крыш, да полуразрушенная эстакада, облепленная пустыми гнездами ласточек.

На завод его приняли чернорабочим. В общежитии дали комнату, тумбочку, в которой без труда разместились нехитрые пожитки: сапоги только не поместились. Это были еще добротные яловые сапоги с железными подковками. Он берег их, густо смазывал дегтем, а, придя из клуба, бережно заворачивал в холстину и прятал под матрац. Не знал он тогда, что чернобровая Настя из драмкружка именно за эти сапоги прозвала его «хохлом-мазницей», смеялась над ним...

Какими далекими и смешными казались ему теперь эти переживания, огорчения, когда впереди была вся жизнь, работа, любовь, семья, дети...

Настя все-таки вышла за него замуж и родила ему дочь Галочку с черными, продолговатыми, как у татарок, глазами. Но нет у него ни Насти, ни дочери.

Федор Иванович не успел хлебнуть чая и затрясся от кашля. Проклятый кашель! Путивцев подхватил его еще в то время, когда строили цех сварных барабанов. Комсомольцы взяли шефство над строительством, и на заводе всюду были расклеены плакаты: «Сдадим цех досрочно!», «Избавим страну от импорта!», «Золото нужно Республике!»

После смены все члены комитета комсомола приходили на стройку и работали каменщиками, штукатурами, малярами. Федор Путивцев, в то время уже техник, забирался в «люльку» со сварочным аппаратом и «взмывал под облака» — стыковать металлические перекрытия. «Люлька» была дырявой, и промозглый ноябрьский ветер просверливал ее насквозь. Там он и застудил бронхи.

Федор Иванович подошел к столу, включил настольную лампу, придвинул к себе лист бумаги. Он давно собирался написать Стронгу, и сейчас рука не поспевала за мыслью. Буквы из-под

пера бежали торопливо, спотыкаясь, судорожно цепляясь друг за друга. Иногда он останавливался, недовольно морщил широкие с проседью брови и растирал руками грудь.

Прежде Федор Иванович никогда не думал о смерти, просто на это не хватало времени. А теперь он был стар, болен и знал, что когда-нибудь не придет на завод и все — вывалится из седла на полном ходу, как его отец, настигнутый кулацкой пулей, а жизнь пойдет дальше без него. Болезни все чаще напоминают о себе, о возрасте, а это омрачало и без того невеселые думы.

Он писал Стронгу и как бы заново переживал описываемое. Острое чувство невысказанной обиды и тоски с новой силой засасывало его, как трясина.

Все началось несколько месяцев тому назад, с аварии на Дмитровской теплоэлектростанции. Лопнул пароперегреватель. Из щели на месте сварного шва с шумом вырвалась горячая струя, едва не перерезав стоявшего неподалеку рабочего. Пришлось остановить турбину, на сутки оставить район без света.

На другой день Путивцева вызвали в совнархоз для объяснений, а затем пригласили в обком партии.

Конечно, он, главный инженер, отвечает за производство и мог сделать раньше то, что сделал.

Вернувшись, Путивцев

приказал просвечивать сварные швы всех важнейших узлов котла не только рентгеном, но и ультразвуковыми лучами. Ультразвук нащупывал в металле мельчайшие трещинки, раковины. Но в конце месяца начальники цехов взмолились, пришли к нему с просьбой: «Отмените приказ, Федор Иванович, ни плана, ни зарплаток. Сколько лет обходились без ультразвука, в войну и рентгена не было, теперь же каждый пятый узел идет на переделку, а им износу бы не было».

— У меня своя арифметика, — сказал им главный инженер. — Посидим пару месяцев без премии, зато научимся как следует работать.

Путивцева поддержал директор. Открыто больше никто не выступал, но он чувствовал молчаливое сопротивление.

Прошел месяц, второй, третий... Ни одной рекламации от приемщиков не поступало, но на заводе брака было по-прежнему много. Путивцева снова вызвали в совнархоз. Ехал он туда уже взвинченный, раздраженный. «Эти вызовы, дергания мешают мне работать. Если я не подхожу вам, ищите другого главного инженера». Так и сказал «мешают». Погорячился, но не думал, что все так обернется. Председатель совнархоза будто ждал подобных слов. Сочувственно расспросил

о здоровье и тут же предложил: «А почему бы вам не перейти на менее хлопотливую работу, скажем, заместителем главного конструктора? Сидеть вам допоздна каждый день на заводе не придется, материально вы почти ничего не потеряете, но с вашими знаниями и опытом в одной упряжке с Поповым и Стронгом вы принесли бы очень большую пользу». Путивцев был ошеломлен, такого он не ожидал. Подсластил пилюлю — «очень большую пользу». Попов — мальчишка. Путивцев был лауреатом Государственной премии, когда тот пришел из института. А теперь идти работать под его начало?

Нет уж! Износился старик, не годен, не нужен. Довольно! Он уйдет на пенсию.

Федор Иванович вытер вспотевшее лицо, шею. Под его грузным телом жалобно скрипнули пружины кресла.

Писать Стронгу о предложении председателя совнархоза не хотелось. Стронг тоже работал заместителем главного конструктора. В декабре он должен был приехать из Индии. «Вернусь из Крыма, из санатория, и расскажу ему все подробно, с глазу на глаз. Так будет лучше», — решил Путивцев.

Санаторий; куда прибыл Федор Иванович, прилепился на склоне горы. Отсюда открывался

вид на Ялту, на порт, на море.

Дома, порталные краны, белый теплоход у причала — все сверху казалось игрушечным, бутафорским. Только море было настоящим, бескрайним. Оно лежало внизу, спокойное и тяжелое, как расплавленный свинец, холодно поблескивая на солнце.

«Вот я и в Крыму, — подумал Путивцев. Он и раньше бывал здесь. В последний раз приезжал с семьей в сороковом году, а через неделю его вызвали телеграммой на завод. В его цехе сорвался мостовой кран и погиб молодой машинист. Главный инженер во всем обвинил Путивцева, а он, не выдержав, наговорил лишнего и восстановил против себя партийное собрание. Если бы не Стронг с его спокойствием и логикой, неизвестно, чем бы все кончилось.

Расходились поздно. От духоты, от пережитого сильно разболелась голова. Хотелось побыть одному, и он отправился домой пешком. Накрапывал дождик, по-весеннему пузырились лужи. Федор намочил платок и прикладывал его к горячим, ломившим от боли вискам.

Дома его ждало письмо от Насти. Оно было подписано «Нора». Она уже давно так называла себя, а когда он, забывшись, окликал ее по-прежнему «Настя», она

хмурила тонкие подведенные брови. Случалось им ссориться, и тогда она кричала, что он «исковеркал ей жизнь, загубил артистический талант». Он был всегда очень занят, это правда, но никогда ничего не запрещал ей. Она сама ленилась, не работала над собой, «любила общество», и поэтому их квартира ломилась от гостей. Они пили вино, крутили патефон и танцевали популярный фокстрот «У самовара я и моя Маша...»

Федор возвращался домой поздно, выпивал две-три рюмки и, разомлев от выпитого, от жары, сидел в кресле, отвечал невпопад на вопросы, думая о своем, и ждал, пока все разойдутся, чтобы еще часок посидеть за книгами, за чертежами.

Настя писала: «Дальше так жить не могу. Тебе не следовало обзаводиться семьей. Кроме работы, ты ни о чем другом не думаешь. Я уйду с человеком, которого полюбила. Галина будет жить со мной».

Было около двух часов ночи. Путивцев позвонил Стронгу, и тот немедленно пришел. Утешать Стронг не умел и не любил, но одно его присутствие действовало на Федора Ивановича успокаивающе.

Настя уехала в Ленинград с комбригом, отдохавшим в соседнем военном санатории. Он покорила ее изысканными манерами и вниманием, часто приносил цветы, а

прощаясь, целовал руку и галантно щелкал каблуками зеркально начищенных сапог. «Такой корректный, заботливый, молодой и уже генерала— говорила она своей подруге.

Всегда подтянутый, стройный, комбриг выглядел моложе своих лет. Звание он получил в финскую кампанию. В разговоре, забываясь, он нередко поглаживал длинными пальцами малиновые петлицы на гимнастерке и новенькие «фромбы», как бы желая удостовериться, что они на месте.

Путивцев теперь не испытывал неприязненного чувства к этому, возможно, неплохому человеку. Вообще, во всяком случае, он неплохо, и еще в начале войны Путивцев встречал его фамилию раза два на страницах центральных газет. Не было уже зла и на Настю, на то, что она бросила его. Одного он не мог простить ей — смерти дочери.

Ленинград пережил блокаду, голод... Все это он знал. Но сама-то Настя выжила, а Галочку не сберегла...

Он был уверен, что Настя не вспоминает о дочери. Она обладала удивительной способностью быстро все забывать: и хорошее, и дурное. Через неделю после смерти своих родителей — они умерли в один день — она вела себя так, будто ничего не случилось...

Где-то в глубине души он сознавал, что, может быть, судит ее слишком жестоко, но ничего с собой поделать не мог.

Говорили, что в ее новой квартире в Ленинграде по четвергам собирается кое-кто из писателей, художников, артистов. Один молодой инженер, вернувшись из командировки, с восторгом рассказывал об этом своим коллегам. Ему «посчастливилось» попасть на такой «четверг» к Норе Васильевне.

Федор Иванович случайно услышал этот разговор, но не стал ни о чем спрашивать инженера. Тот был очень юн, резв, с румяными щеками и почему-то напомнил Путивцеву любопытного розового поросенка, который тычется своим носом куда попало. А Настя? Она, видно, не изменилась с тех пор, как они расстались. Все о себе и для себя. Довольна ли она теперь своей жизнью? Ну, а он доволен? Он меньше всего думал о себе, не жалел себя. Правда, он и других, подчиненных ему, не жалел. Ему говорили «надо!», и он говорил «надо!» В последнее время упрекали в том, что он нечуток к людям, и лозунг партии «все во имя человека, все для блага человека» остается для него словами. Ему было непонятно, что от него хотят. Да, он умел заставлять, приказывать, и во имя дела не

останавливаться ни перед чем. Этого требовали жесткие сроки, план. А разве его не заставляли те, которые стояли выше его? И дело тут вовсе не в его характере. Таково было время.

На последнем партийном собрании его критиковали за то, что он не доверяет молодым специалистам, не дает им ходу, и напомнили историю с ультразвуком. Ведь еще задолго до аварии в Дмитровске к нему пришли два молодых инженера из центральной заводской лаборатории и предложили применить для контроля сварных швов ультразвук. «Мальчишки-прожекторы», — решил он тогда. В их методе, действительно, было еще много несовершенного, но он, старый опытный инженер, не мог не понимать, что параметры пара, мощность котлов чудовищно растут. Один новый котел с турбиной дает теперь столько энергии, сколько ДнепрогЭС. Какая же должна быть прочность его узлов и можно ли полагаться на испытанный, но старый способ контроля сварных швов рентгеновскими лучами?

Только когда случилась авария в Дмитровске, он вспомнил о «прожекторах». Но почему не раньше? Что мешало ему проверить, хотя бы как следует разобраться в их предложении? Недостаток времени, веры в их силы? «Без веры в человека жить

нельзя», — бывало, говорили ему, молодому руководителю, старые коммунисты, его наставники. Но где-то на жизненных ухабах растерял он эти советы. Когда это случилось? В тридцатые годы, когда он столько претерпел от наговоров после той злополучной аварии в цехе или позже, когда от него ушла Настя?

Груз старых ошибок казался ему особенно тяжелым, потому что он был теперь «генералом в отставке» и не мог ничего изменить, исправить. Сознание этого не облегчало, а еще больше растревало душу.

* * *

В теплые дни на асфальтированной площадке перед главным корпусом, где были расставлены кресла-качалки, собирались отдыхающие. Говорили о газетных новостях, о работе, о погоде. Приходил туда и Федор Иванович, но, занятый своими мыслями, он больше отмалчивался.

Прошло две недели, а письма от Стронга не было, и это беспокоило Путивцева. «Может, он не одобряет моего решения уйти с завода?» — думал он.

Путивцев прислушивался к Стронгу, дорожил его мнением, об этом знал весь завод, хотя многих это удивляло. Путивцев и Стронг являлись антиподами. Стронг был сдержан в проявлении

чувств, хладнокровен и бережлив. О Путивцеве же говорили — натура широкая, горяч. Даже внешне они были прямой противоположностью друг другу: Стронг — высокий и худой, Путивцев — чуть ли не по плечо ему, коротконогий и грузный.

Долгое время они работали вместе: Путивцев — начальником цеха, Стронг — парторгом, и хорошо дополняли друг друга. Потом Стронг ушел в конструкторское бюро, а Путивцев стал главным инженером завода. Тогда-то у них и родилась идея сконструировать прямоточный котел высоких параметров. Собственно, идея принадлежала Путивцеву. У него, несомненно, был талант исследователя, чего недоставало Стронгу, и, может, поэтому тот с таким благоговением относился к Федору Ивановичу, оберегал его, хотя нередко говорил такие горькие вещи, какие на заводе не сказал бы ему никто.

В последний раз они крепко поспорили из-за поездки в Индию. Путивцеву предложили отправиться в Индийскую Республику, где с помощью советских специалистов строилась теплоэлектростанция. Федор Иванович отказался. «Я должен, закончить начатую мной работу», — заявил он в министерстве. «Прирос ты, старик, к кабинету», — сказал ему Стронг, когда они остались

вдвоем. Путивцев вспылал. «Ты горячишься, значит, я прав, — вставил Стронг. — Котел уже запущен в производство, и его сделают без нас».

Вместо Путивцева в Индию поехал Стронг. Расстались они холодно, но время давно сгладило взаимные обиды.

После обеда Путивцев зашел в библиотеку санатория. Писем ему не было. Он взял газеты и поднялся к себе в палату.

Читать не хотелось, и Федор Иванович, скользнув взглядом по заголовкам, собирался было отложить газету, но его внимание привлекло сообщение в траурной рамке:

«Министерство электростанций СССР с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной смерти одного из старейших инженеров-котлостроителей Арнольда Михайловича Стронга...».

Еще не дочитав до конца, Путивцев откинулся на подушки, как от толчка в грудь. Сердце подскочило к самому горлу, и нечем уже дышать. Газета выскользнула из рук и с тихим шелестом легла на пол. Но этого он не слышал. Он почувствовал, как деревенеют ноги, но не испугался. Такое уже случалось однажды, когда пришла телеграмма о смерти Галочки.

Федор Иванович лежал не шевелясь. Так было нужно. Скоро начнется боль в суставах, в

пояснице, но в конце концов все пройдет. Доктор как-то подиковинному назвал эту болезнь. «Врачи ошиблись, и в тропиках я чувствую себя хорошо»,— писал Стронг, а теперь его нет... «В одной упряжке с Поповым и Стронгом вы принесли бы заводу очень большую пользу». Принесли бы... Принесли... Стронга больше нет... нет. Эта мысль жила в нем, билась в висках, но вместе с нею жили и другие мысли...

Сегодня собирают последнюю секцию котла. Путивцев помнил все сроки работ, и соберут, конечно, без него. Стронг давно понял это и поехал туда, где был более нужен. «Старый конь борозды не испортит, но он должен знать свое место»,— эти слова Стронг сказал применительно к себе, но разве к нему, Путивцеву, они не относятся? В огромной стране повсюду шло обновление. Оно затронуло партийный и государственный аппарат. Путивцев был уверен — технической интеллигенции это коснуться не может. Опыт, знания заменить нечем. Ну, а методы руководства? Да и сами знания, разве они неизменны, постоянны? Неужели нужно было пережить смерть друга, чтобы понять это? Стронг никогда не выбирал, не выгадывал. Он не должен был ехать туда. «О чем это я?» — подумал Путивцев.

Мысли путались, ускользали. После приступа тяжелый сон обволакивал его...

Во сне он видел себя молодым и непривычно легким. Проснулся он от свиста ветра. Тоненько вызванивала застекленная на веранду дверь, а в проеме окна, как черные космы дыма, метались верхушки трех кипарисов.

Лишь к утру притихло, подморозило. Путивцев оделся. «Сегодня же улечу»,— решил он. Хорошо было бы успеть на испытания. Его недавние обиды выглядели теперь мелкими и ненужными.

Такси можно было заказать по телефону, но хотелось пройтись. С горы шагалось легко и быстро. Воздух с запахом хвои и подмерзших палых листьев немного пьянил, слегка кружилась голова. На берегу лежал рыхлый ноздреватый снег, он крошился и таял в лениво набегавшей волне. Спокойствие, разлитое в природе, передавалось Путивцеву. Но на стоянке такси он поругался с диспетчером. Машину до Симферополя обещали часа через три. Черт бы побрал этих таксистов! Но в его брани не было злости.

«Человек с годами мудреет,— думал он, поднимаясь к санаторию,— и все же часто остается в плену старых привычек, представлений о жизни». Федор Иванович знал, что ему самому все еще нужно

во многом разобраться, многое понять, но он уже не чувствовал себя «генералом в отставке», и это было главным.